

# Эпос и лирика современной России

— ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ И БОРИС ПАСТЕРНАК —

( О к о н ч а н и е )

У Маяковского мы всегда знаем о чем, зачѣм, почему. Он сам — отчет. У Пастернака мы никогда не можем доискаться до темы, точно все время ловишь какой-то хвост, уходящий за лѣвый край мозга, как когда стараешься вспомнить и осмыслить сон.

Маяковский — поэт темы.

Пастерк — поэт без темы. Сама тема поэта.

Дѣйствие Пастернака равно дѣйствию сна. Мы его не понимаем. Мы в него попадаем. Под него подпадаем. В него — впадаем. Пастернака, когда мы его понимаем, то понимаем помимо него, помимо смысла (который есть и за прояснение котораго нам — борется) — через интонацію, которая неизмѣнно точна и ясна. Мы Пастернака понимаем так, как нас понимают животныя. Мы так же не умѣем говорить по пастернаковски, как Пастернак не умѣет говорить по нашему, но оба языка есть, и оба вняты и осмысленны, только они на разных ступенях развитія. Разобщены. Мост — интонація. Больше скажу: чѣм больше старается Пастернак свою мысль развить и уяснить, чѣм больше громоздит придаточных предложеній (строение его фразы всегда правильно и напоминает германскую художественно-философскую прозу начала прошлаго вѣка), тѣм больше он смысл затемняет. Есть темнота сжатости, есть темнота распространенности, здѣсь же — говорю об иных мѣстах его прозы — двойная темнота поэтической сжатости и

---

1) См. «Новый Град», № 6.

философской распространенности. В распространенной прозе, какова, напริมѣр, лекторская, должна быть вода (обмельніе вдохновенія), то-есть распространеніе должно быть повтореніем, а не разъясненіем: одного образа другим и одной мысли — другой.

Возьмем прозу Маяковского: тот же сокращенный мускул стиха, такая же проза его стихов, как пастернакова проза — проза стихов Пастернака. Плоть от плоти и кость от кости. О Маяковском сказано — мною обо мнѣ сказанное:

Я слово беру — на прицѣл!

А словом — предмет, а предметом — читателя. (Мы всѣ Маяковским убиты — если не воскрешены!)

Важная особенность: Маяковский — поэт весь переводим на прозу, то-есть расскажем своими словами, и не только им самим, но любим. И словаря мѣнять не приходится, ибо словарь Маяковского — сплошь обиходен, разговорен, прозаичен (как и словарь Онѣгина, старшими современниками почитавшійся «подлым»). Утрачивается только сила поэтической рѣчи: маяковская разстановка: ритм.

А если Пастернака перевести на прозу, то получится проза Пастернака, мѣсто куда темнѣйшее его стихов, то-есть темнота, присущая самому стиху, и нами, поэтому, в стихах узаконенная, здѣсь окажется именно темнотой сути, никакими стихами не объясненная и не проясненная. Ибо, не забудем: лирика темное — уясняет, явное же — скрывает. Каждый стих — реченіе Сивиллы, то-есть бесконечно больше, чѣм сказал язык.

Маяковский весь связан, логика же Пастернака сущая, но неизслѣдимая связь между собой событіи — сна, во снѣ, но только во снѣ, неопровержимая. Во снѣ (когда мы читаем Пастернака) все именно так, как нужно, все узнаешь, но попробуй-ка этот сон рассказать — то-есть своими словами передать Пастернака — что останется? Мир Пастернака держится только по его магическому слову. «И сквозь магическій кристалл»... Магическій кристалл Пастернака — его глазной хрусталик.

Маяковского рассказать пусть берется каждый, говорю заранее: удастся, то-есть половина Маяковского останется. Па-

стернака же может рассказать только сам Пастернак. Что и дѣ-  
лает в своей гениальной прозѣ, сразу ввергающей нас в снови-  
дѣніе и в сновидѣніе.

Пастернак — чара.

Маяковскій — явь, бѣлѣйшій свѣтъ бѣлаго дня.

---

Но основная причина нашего первичнаго непониманія Па-  
стернака — в нас. Мы природу слишком очеловѣчиваем, по-  
этому вначалѣ, пока еще не заснули, в Пастернакѣ ничего не  
узнаем. Между вещью и нами — наше (вѣрнѣе чужое) пред-  
ставленіе о ней, наша застилающая вещь привычка, наш, то-  
есть чужой, то-есть дурной опыт с вещью, всѣ общія мѣста  
литературы и опыта. Между нами и вещью наша слѣпость, наш  
порочный, порченный глаз.

Между Пастернаком и предметом — ничего, оттого его  
дождь — слишком близок, больше бьет нас, чѣм тот из  
тучи, к которому мы привыкли. Мы дождя со страницы не жда-  
ли, мы ждали стихов о дождѣ. Поэтому мы говорим: «Это не  
дождь!» и «это не стихи!». Дождь забарабанил прямо по нас:

На листьях сотни запонок,  
И сад слѣпит, как плес,  
Обрызганный, закапанный  
Милльоном синих слез.

Природа явила себя через самое беззащитное, лунатиче-  
ское, медиумическое существо — Пастернака.

---

Пастернак неисчерпаем. Каждая вещь в его рукѣ, вмѣстѣ  
с его рукой, из его руки уходит в безконечность — и мы с  
нею — за нею. Пастернак только Invitation au voyage — са-  
мораскрытія и мірораскрытія, только отправной пункт: то, от-  
куда. Наш отчал. Ровно столько мѣста, чтобы — сняться. На  
Пастернакѣ мы не замедливаем, мы медлим над Пастернаком.

Над Пастернаковой строкой густѣйшая и тройная аура — пастернаковских, читательских и самой вещи — возможностей. Пастернак сбывается над строкою. Чтеніе Пастернака надстрочное, — параллельное и перпендикулярное. Меньше читаешь, чѣм глядишь (думаешь, идешь) от. Наводящее. Заводящее. Можно сказать, что Пастернака читатель пишет сам.

Пастернак неисчерпаем.

Маяковский — исчерпывает. Неисчерпаема только его сила, с которой он так исчерпывает предмет. Сила, готовая, как земля, каждый раз все заново, каждый раз — раз навсегда.

За порогом стихов Маяковского — ничего: только дѣйствіе. Единственный выход из его стихов — выход в дѣйствіе. Его стихи нас из стихов выталкивают, как бѣлый день с постели сна. Он именно тот бѣлый день, не терпящій ничего скрытаго — *Die Sonne bringt es an den Tag!* Посмотрите на его тѣни — развѣ это не ножом отрѣзанныя, ограниченныя тѣни полдня, на которыя нельзя не наступить ногой. Пастернак: неисчерпаемость (неограниченность) ночи.

Над строками Маяковского — ничего, предмет весь в его строкѣ, он весь в своей строкѣ, как гвоздь в есь ушел в доску: мы же уже непосредственно у дѣла и с молотком в руках.

От Пастернака думается.

От Маяковского дѣлается.

Послѣ Маяковского ничего не остается сказать.

Послѣ Пастернака — все.

---

И, в каком-то послѣднем, конечном счетѣ:

«Мнѣ борьба мѣшала быть поэтом» — Пастернак.

«Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцом» — Маяковский.

Ибо упор Пастернака в поэтѣ.

Ибо упор Маяковского в бойцѣ.

«Пѣвец в станѣ русских воинов» — вот Пастернак в российской современности.

Боец в станѣ мировых пѣвцов — вот Маяковский в поэтической современности.



И — кто знает — куда бы дошел, до какой глубины бы дорвался Пастернак, если бы не невольная, тоже медіумическая, привлеченность общественностью: данным часом Россіи, вѣка, исторіи. Отдавая все должное Пятому Году — генію Пастернака во образѣ Пятаго Года — не могу не сказать, что Шмидт и без Пастернака остался бы Шмидтом, Пастернак и без Шмидта остался бы Пастернаком, а с чѣм-нибудь иным, чѣм Шмидт, с чѣм-нибудь неназванным оказался бы — дальше.

Если час для поэтической карьеры — ви́шняго прохожденія и дохожденія поэта — нынѣ в Россіи благопріятный, то для поэтической одипокой дороги он неблагопріятен. Событія питают, но они же и мѣшают и, в случаѣ лирическаго поэта, больше мѣшают, чѣм питают. Событія питают только пустого (незаполненнаго, опустошеннаго, временно-пустующаго), переполненному они — мѣшают. Событія питают Маяковского, у котораго была только одна полнота — сил. Событія питают только бойца. У поэта — свои событія, свое самособытіе поэта. Оно в Пастернакѣ, если не нарушено, то отклонено, заслонено, отведено. Тот же отвод рѣк. Видоизмѣненіе русл.

Пастернак, по благородству сущности, сам свои пороги упразднил — поскольку мог. Пастернак, в полной добросовѣстности, старается не впасть в Каспійское море.

Может быть, может быть. Но — жаль Неясыти. И той Волги — жаль.

---

«Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцом» — Маяковский. Да, ибо есть борьба болѣе непосредственная, чѣм словом — тѣлом! — и болѣе дѣйственная, чѣм словом — дѣлом, общее дѣло рядовой борьбы. А Маяковский никогда не стоял рядовым. Его дар его от всѣх его собойцов — товарищей — отъединил, от всякаго, кромѣ разговорнаго, дѣла отставил. Маяковскому, этому самому прямому из бойцов, пришлось драться иносказательно, этому самому боевому из бойцов — биться окольно. И сколько ни заявляй Маяковский: «Я — это всѣ! Я — это мы!» он все-таки одинокій товарищ, неравный

ровна, атаман — ватаги, которой нѣтъ, или настоящій атаман которой — другой. Вот стихи рабочаго:

Вспоминаю тебя и тебѣ пою  
Как сталь звучащую пѣснь мою.  
К тебѣ вздымается пѣснь! К тебѣ  
И больше ни к кому.  
Ты слабости не знал в себѣ,  
Был тверд. И потому  
Всю эту молодость мою  
Тебѣ я отдаю.  
Нѣтъ лучшаго, чѣм ты, у нас,  
И не было в вѣках.  
Весна. И лѣто уж недалеко.  
Воды бурлят, содрогаясь до дна.  
Улицы міра вздыхают глубоко  
Шли года и года,  
Но никто никогда  
Не жил, так нас любя,  
Как ты.  
И уж нѣтъ тебя.  
И все ж я стою пред тобою.  
Ты жив.. И будешь — пока земля  
Будет. Мощным звоном с башен Кремля  
Падают ритмы Парижской Коммуны.  
Всѣ гонимыя в мірѣ сердца  
Натянули в груди твоей общія струны.  
На старых камнях площади Красной,  
С весенним вихрем один на один,  
Побѣдоносный и властный,  
Окраинной улицы сын  
Поет тебя.

Эти стихи — не Маяковскому. Они тому, кто, по слуху народной славы выписав себѣ полное собраніе сочиненій Маяковского, прочел двѣ страницы и навсегда отложил, сказав: — «А все-таки Пушкин — лучше писал!».

А я скажу, что без Маяковского русская революція бы сильно потеряла, так же, как сам Маяковский — без Революціи. А Пастернак бы себѣ рос и рос...

---

Если у нас из стихов Маяковского один выход — в дѣйствіе, то у самого Маяковского из всей его дѣйственности был один выход — в стихи. Отсюда и их ошеломляющая физика, их подчас подавляющая мускульность, их физическая ударность. Всему бойцу пришлось втѣсниться в строки. Отсюда и рваные размѣры. Стих от Маяковского всемѣстно треснул, лопнул по швам и без швов. И читателю, сначала в своей наивной самонадѣянности убѣжденному, что Маяковский это для него ломается (дѣйствительно ломался: как лед в ледоход!) скоро пришлось убѣдиться, что прорывы и разрывы Маяковского не ему, читателю, погремушка, а прямое дѣло жизни — чтобы было чѣм дышать. Ритмика Маяковского физическое сердцебіеніе — удары сердца — застоявшагося коня или связаннаго чело-вѣка. (Про Маяковского можно сказать чудным ярмарочным словом владѣльца карликовой труппы, ревновавшаго к сосѣднему бараку: — «Чего глядите? Обнакна вены в великаны!»). Нѣтъ гнета большаго — подавленной силы. А Маяковский, даже в своей кажущейся свободѣ, связан по рукам и по ногам. О стихах говорю, ни о чем другом.

Если стихи Маяковского были дѣлом, то дѣло Маяковского не было: писать стихи.

Есть рожденные поэты — Пастернак.

Есть рожденные бойцы — Маяковский.

А для рожденнаго бойца — да еще такой идеи — всякая дорога благоприятнае поетовой.

Еще одно необходимое противопоставленіе. Маяковский при всей его динамичности — статичен, та непрерывность, предѣльность, однородность движенія, дающая неподвижность. (Недвижный столб волчка. Волчек движется только, когда оставливается).

Пастернак же — динамика двух впертых в стол локтей, подпирающих лоб — мыслителя.

Так неподвижно море — в самую бурю.

Так динамично небо, которым идут тучи.

Статичность Маяковского от его статуарности. Даже тот быстроногий бѣгун он — мраморный. Маяковский — Рим. Рим риторства, Рим дѣйствія. «Кароаген должен быть разрушен!» (Если ругать его, так только: «статуй»). Маяковский — живой памятник. Гладиатор вживѣ. Вглядитесь в лобные выступы, взглянитесь в глазницы, взглянитесь в скулы, взглянитесь в челюсти. Русский? Нѣт. Рабочій. В этом лицѣ пролетаріи всѣх стран больше чѣм соединились — объединились, сбились в это самое лицо. Это лицо такое же собирательное, как это имя. Безымянное имя. Безличное лицо. Как есть лица с печатью интернациональной авантюры, так это лицо — сама печать Пролетаріата, этим лицом Пролетаріат мог бы печатать свои деньги и марки.

Маяковский среди рабочих міра был настолько свой, он — настолько они, что спокойно мог дымить на них английским табаком из английской трубки и сверкать на них черным лаком парижских башмаков и собственной парижской машины — только радость: своему повезло, и говорить рабочим «ты» (весь Пастернак напряженное «вы», на ты он только с Гете, Рильке, такими. «Ты» братственности, ученичества, избранничества. У Маяковского — рядовое «ты» товарищества). Маяковский в коммунизмѣ настолько свой, что он, вопреки всѣм попрекам Есенину и наказам комсомолкѣ Марусѣ, отравившейся, потому что не было лаковых туфель (из-за них-то и милый бросил!).

Помни ежедневно, что ты — зодчій

И новых отношений и новых любовей, —

И станет ерундовым любовный эпизодчик

Какой-нибудь Любы к любому Вовѣ.

мог покончить с собой из-за частной, несчастной любви так же просто, как тогда рѣзался в карты. Своему все позволено, чужому — ничего. Свой среди своих. Только тѣ рабочіе живые, этот — каменный.



Боюсь, что несмотря на народныя похороны, на весь почет ему, весь плач по нем Москвы и Россіи, Россія и до сих пор до конца не поняла, кто ей был дан в лицѣ Маяковского. Маяковскому в Россіи только один — ровня. (Не говорю: в мірѣ, не говорю :в словѣ, говорю: в Россіи). Если тот был «хлѣба», этот был «зрѣлищ», то-есть первым шагом души из хлѣба, первой новой россійской душою. Маяковскій первый новый человек новаго міра, первый грядущій. Кто этого не понял, не понял в нем ничего. Не даром я, слушая с голосу тѣ уже приведенные стихи рабочаго Весна, гдѣ все свелось к одному: ему: ушедшему, сразу сказала: — либо Маяковскому — либо.

Пролетаріат может печатать только двумя лицами. Должен печатать двумя лицами.

---

Даже извѣстная ограниченность его — ограниченность статуи. Статуя может только мѣнять положенія: угрозы, защиты, страха и т. д. (Весь античный мір одна статуя в различных положеніях). Видоизмѣнять положенія, но не мѣнять матеріал, который раз навсегда ограничен, и раз навсегда ограничивающій возможности. Вся статуя в себя включена. Она из себя не выйдет. Потому-то она и статуя. Для того-то она и статуя. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Может быть в этом смысл Маяковскій болѣе Meister и Meisterwerk, чѣм Пастернак, котораго так же дико, как Рильке, искать в ограниченном мірѣ мастерства и так же естественно, как Рильке, находить в неограниченном, ничѣм от нас не ограниченном мірѣ чуда.

Лаокоон из кожи не выльзет никогда, но выльзает всегда, но не выльзет никогда, и так далѣе до бесконечности. В Лаокоонѣ дано выльзание и з : статика динамики. Ему, как морю, положен закон и предѣл. Эта же неподвижность бойца дана и в Маяковском.

Теперь прошу о предѣльном вниманіи. Из кожи Маяковскаго лѣз только боец; лѣз только размѣр. Как из его глазниц —

глазомѣр. Дай ему тѣло и дѣло в тысячу раз больше ему положенных, тѣло и дѣло его силы, весь Маяковский отлично в себѣ умѣстится, ибо распределится в непрерывности живого движенія, и не будет статуей. Статуей он стал. Его трагедія опять-таки вопрос количества, а не качества (разнокачественности). В этом он еще раз одинок среди поэтов, ибо лѣз-то он именно из кожи слова, ставшей роковым образом его собственной, и которую он повсемѣстно порвал — в дѣйственный мѣр, тогда как все поэты именно из кожи дѣйственнаго мѣра лѣзут. Все поэты: из физики — в психику. Маяковский из психики — в физику — с нашей точки зрѣнія — ибо для Маяковского, обратно всемъ поэтам, слово было тѣло, а дѣло — душа. Пусть для лирика и поэзія тѣсна, Маяковскому именно она была тѣсна. Маяковский за письменным столом — физическое несоотвѣтствіе. Уж больше видишь его за «grandes machines» декоративной живописи, гдѣ, по крайней мѣрѣ, рукѣ есть гдѣ взмахнуть, ногѣ — куда отступить, глазу — что окинуть. Из кожи поэзіи рвался еще и живописец. Та секунда, когда Маяковский впервые уперся локтемъ в стол, — начало его статуарности. (Окаменѣл с локтя). Россія в эту секунду обрѣла самаго живого, самаго боевого, самаго неотразимаго из своихъ поэтов, в эту секунду любые ряды боя — первый ряд боя, все первые ряды всехъ боев мѣра утратили своего лучшаго, самаго боевого, самаго неотразимаго бойца.

Приобрѣл эпос, потерял миф.

Самоубійство Маяковского, в другом моемъ смысловомъ контекстѣ встающее, какъ убійство поэтомъ — гражданина, из даннаго моего контекста встаетъ расправой с поэтомъ — бойца. Самоубійство Маяковского было первымъ ударомъ по живому тѣлу, это тѣло — первымъ живымъ упоромъ его удару, а все вмѣстѣ — его первымъ дѣломъ. Маяковский уложилъ себя какъ врага.

Если Маяковский в лирическомъ пастернаковскомъ контекстѣ — эпос, то в эпическомъ дѣйственномъ контекстѣ эпохи он — лирика. Если он среди поэтовъ — герой, то среди героев — он поэт. Если творчество Маяковского эпос, то только потому, что он, эпическимъ героемъ задуманный, имъ не стал, в поэта всего героя взялъ. Приобрѣла поэзія, но пострадал герой.

Герой эпоса, ставший эпическим поэтом — вот сила и слабость, и жизни и смерть Маяковского.

С Пастернаком проще, на этот раз Пастернак Темный — читается с листа. Пастернаку как всякому лирическому поэту, всюду тѣсно, кроме как внутри, во всем мірѣ дѣйствія тѣсно, особенно же в самом мѣстѣ мірового дѣйствія — нынѣшней России.

Иль я не знаю, что в потемках тычась,  
Вовѣк не вышла б к свѣту темнота?  
Иль я урод, и счастье сотен тысяч  
Не ближе мнѣ пустого счастья ста?  
И развѣ я не мѣрюсь пятилѣткой,  
Не падаю, не поднимаюсь с ней?  
Но как мнѣ быть с моей грудною клѣткой  
И с тѣм, что всякой косности коснѣй!

Пастернаку, как всякому поэту, как всякому большому о счастье не думающему, приходится снижаться до цифрового сопоставленія счастья ста и сотен тысяч, до самого понятія счастья, как цѣнности, орудовать двумя неизвѣстными, если не завѣдомо подозрительными ему величинами: счастья и цифрового количества.

Пастернаку, который так недавно, высунув голову в форточку — дѣтям:

Какое, милые, у нас  
Тысячелѣтье на дворѣ?

приходится по полной доброй волѣ, за которую никто ему не благодарен (кому досадно, кому жалко, кому умилительно и всѣм неловко) мѣрится пятилѣткой.

Весь Пастернак в современности один большой недоумѣнный страдальческій глаз — тот самый глазок над кружкой — тот самый глаз из форточки — глаз непосредственно из грудной клѣтки — с которой он не знает, как быть, ибо видимое и сущее в ней, так Пастернаку кажется, сейчас никому не нужно. Пастернак из собственных глазниц вылѣзает, чтобы увидѣть то, что всѣ видят и ко всему, что не то, ослѣпнуть. Глаз тайно-

видца, тшашійся стать глазом очевидца. И так хочется от лица міра, вѣчности, будущаго, от лица каждаго листка, на который он т а к глядѣл, уговорить Пастернака тихими словами его любимаго Ленау (Bitte).

Weil auf mir du dunkles Auge,  
Uebe Deine ganze Macht.

---

Мы подошли к единственной мѣрѣ вещей и людей в данный час вѣка: отношенію к Россіи.

Здѣсь Пастернак и Маяковский — единомышленники. Оба за новый мір и оба — но вижу, что первое о б а останется послѣдним, ибо если Пастернак явно за новый мір, то вовсе не с такой силой явности против стараго, который для него, как бы он ни осуждал политическій и экономическій строй прошлаго, прежде всего и послѣ всего — его огромная духовная родина. «Кто нѣ с нами, тот против нас». Мы для Пастернака не ограничивается «аттакующим классом». Его мы — всѣ тѣ уединенные всѣх времен, порознь и ничего друг о другѣ не зная дѣлающіе одно. Творчество — общее дѣло, творимое уединенными. Под этим, не сомнѣваюсь, подпишется сам Борис Пастернак. Пастернак не боец (kein Umstürzler!). Пастернак — сновидец и прозорливец. В своей революціонности он ничѣм не отличается от всѣх больших лириков, всѣх, включая роялиста Виньи и казеннаго Шенье, стоявших за свободу — других (у поэта — своя свобода), равенство — возможностей, и братство, которым каждый поэт, несмотря на свое одиночество, а может быть и благодаря своему одиночеству — переполнен до самых краев сердца. В своей «слѣвизнѣ» он ничѣм не отличается от каждаго человѣка, у котораго сердце на мѣстѣ, то-есть — слѣва.

Вот признаніе самого Пастернака, недавнее, послѣ пятнадцатилѣт Революціи, признаніе:

И так как с малых дѣтских лѣт  
Я ранен женской долей,  
И слѣд поэта — только слѣд



Ея путей — не боль,  
И так как я лишь ей задѣт,  
И ей у нас раздолье,  
То весь я рад сойти на-нѣт  
В революціонной волѣ —

то-есть то же слово Вивьи сто лѣт назад: «Après avoir réfléchi sur la destinée des femmes dans tous les temps et chez toutes les nations, j'ai fini par penser que tout homme devrait dire à chaque femme, au lieu de Bonjour: — Pardon!».

И опять-таки от даннаго к общему, окольный — чисто-поэтов! — приход, через деталь и обход вѣками обманутой дѣвушки — да через Гретхен же! — в Революцію. Как к лѣсу — через лист. И показательно, что самосознающій себя, боевой, волевой Маяковский с его самосознающим себя даром:

Всю свою звонкую силу поэта  
Я тебѣ отдаю, атакующій класс!

— со всей своей волей и личностью в этом своем выборѣ — растворяется. Пастернаково же признаніе:

То весь я рад сойти на-нѣт  
В революціонной волѣ —

нами, вопреки убѣжденности Пастернака и очевидности букв, читается:

Я рад бы весь сойти на-нѣт

— то-есть Пастернак в нашем сознаниі, несмотря на Лейтенанта Шмидта и все, что еще такого напишет, в этой революціонной волѣ, как вообще ни в какой людской, не растворяется, ибо ни с какой волей, кромѣ міровой, всей міровой — и дѣйствующей непосредственно через него — не только не сліянен, но и не знаком. Каждый подвластен, но каждый подвластен иному. За Пастернака знает кто-то больший, чѣм он, и иной, чѣм мы.

Маяковского ведут массы, хочется сказать по французски: теміи масс, потому он их и ведет. Массы будущаго, потому он

и ведет массы настоящего. И чтобы не было двусмысленности в толковании: Маяковского ведет история.

Маяковский: ведущий — ведомый. Пастернак — только ведомый.

---

Единомыслие — не мѣра сравнения двух поэтов. У Маяковского единомышленники — если не вся Россія, то вся русская молодежь. Каждый комсомолец больший и, во всяком случаѣ, болѣе явный единомышленник Маяковскому, чѣм Пастернак. Сходятся (едино — мыслят) эти двое только раз — в т е м ъ поэм Октябрь и Пятый Год. Один написал Октябрь, другой Декабрь, но к а к о й Октябрь и к а к о й Декабрь, да и Декабрь-то от Октября сильно разнится.. И напиши Пастернак завтра же свой Октябрь, это прежде всего будет е г о Октябрь, гдѣ центр боевых дѣйствій будет перенесен на вершины метущихся деревьев.

Второго, а по существу первого и единственного вопроса: об отношении к Богу того и другого, Бога к тому и другому, я сейчас намеренно не поднимаю. В свой час.

В разныя устья, из разных истоков, разные в источниках, из которых пьют, в жаждущих, которых поят — зачѣм перечислять? — не: разные во всем, а люди разных измѣреній, они равны только в одном: силѣ. В силѣ творческого дара и отдачи. Слѣдовательно, и в силѣ, по нас, удара.

Маяковский наш силомѣр, Пастернак наш глубино-мѣр: дот.

---

Но есть у этих двух, связанных только одной наличностью — силы, и одно общее отсутствіе: объединяющій их пробѣл пѣсни. Маяковский на пѣсню неспособен, потому что сплошь мажорен, ударен и громогласен. Так шутки шутят («не гораздо хорошия») и войсками командуют. Так не поют. Пастернак на пѣсню неспособен, потому что перегружен, перенасыщен и, главное, одиноличен. В Пастернакѣ пѣснѣ нѣту мѣста, Маяковскому самому не мѣсто в пѣснѣ. Поэтому блоковско-есенинское

мѣсто до сих пор в Россіи «закантно». Пѣвучее начало Россіи, разструенное по небольшим и недолговѣчным ручейкам, должно обрѣсти единое русло, единое горло.

Для того, чтобы быть народным поэтом, нужно дать цѣлому народу через тебя пѣть. Для этого мало быть всѣм, нужно быть всѣми, то-есть именно тѣм, чѣм не может быть Пастернак. Цѣлым и только данным, данным, но зато цѣлым народом — тѣм, чѣм не хочет быть Маяковский: глашатай одного класса, творец пролетарскаго эпоса.

Ни боец (Маяковский), ни прозорливец пѣсен не слагают.

Для пѣсни нужен тот, кто навѣрное уже в Россіи родился и гдѣ-нибудь, под великій російскій шумок, растет. Будем жить.

---

...Ты спал, постлав постель на сплетнѣ,  
Спал и, оттрепетав, был тих.  
Красивый, двадцатидвухлѣтній,  
Как предсказал твой тетрапих.  
Ты спал, прижав к подушкѣ щеку,  
Спал со всѣх ног, со всѣх лодыг,  
Врѣзаясь вновь и вновь с наскоку  
В разряд преданій молодых.  
Ты в них врѣзался тѣм замѣтнѣй,  
Что их одним прыжком достиг.  
Твой выстрѣл был оподобен Этнѣ  
В предгорье трусов и трусик.

Пастернак — Маяковскому.

М. Цвѣтаева.

Кламар, декабрь 1932 г.